
СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ СИБИРИ

(Раздел ведет Тамара Булевич)

Анна Боярская
(г. Новосибирск)

ЧЕТВЕРТЫЙ НОМЕР



Аспирантка и мнс в ГУНИИБХ СО РАМН. В свободное время от работы и детей, пишу небольшую прозу для взрослой и детской аудитории. В настоящее время готовлю к изданию книгу детских рассказов.

Путь господина К. лежал недалеко, и в этом затхлом городишке он был проездом. Так уж вышло, что в дороге он захворал, а без должного ухода состояние его особенно ухудшилось. Грузное тело господина К. постоянно сотрясалось от мучившего его тяжелого кашля, он справился о лучшей гостинице в городке, но, к его крайнему раздражению, все номера были заняты. И господин К. был вынужден остановиться в небольшой гостинице на короткой темной улице, где его очень вежливо принял метрдотель, мужчина лет пятидесяти ничтожного телосложения, заверив, что самый лучший номер как раз свободен, и что в нем будет очень удобно такому состоятельному и важному господину.

Хозяин всегда выражал почтение к тяжело болеющему господину занимающему самый дорогой четвертый номер в его заведении и лично относил ему поднос, обильно уставленный едой. Нужно отметить, что каждый раз, когда, поставив изрядно тяжелую ношу на небольшую тумбу в темном коридорчике, метрдотель вежливо стучался, для получения разрешения войти, ответом неизменно был все тот же громоподобный кашель. Опустив глаза, шепча себе под нос ежедневные приветственно-заискивающие речи и ловко придерживая ногой дверь с большой искусно вырезанной четверкой, он осторожно проносил поднос в комнату к больному.

Но если еду приносил какой-никакой мужчина, то забирать посуду входило в обязанности Анны, единственной горничной, кроткой молодой девушки с худым лицом и тонкими руками, которая беспрестанно была смущена тем или иным обстоятельством, а часто и по неизвестной причине. Был один случай, в общем-то, и случаем то не назвать, так... досадный пустяк, которым мне, право, неудобно даже занимать внимание читателя, но вот именно после этого пустякового происшествия Анна особенно не любила больного из четвертого номера и особенно сильно краснела в присутствии молодого врача. Дело было так. Вынося из комнаты, поднос с посудой,

Анна спиной прочувствовала взгляд, обернувшись, она увидела живущего в самом маленьком шестом номере с окном, выходящим в темный двор, того самого молодого врача. Он улыбнулся ей, от чего Анну бросило в краску, а хрупкие пальчики на маленьких руках побелели — так сильно она сжала поднос, и надо ж было господину, мучимому тяжелой болезнью, внезапно разразиться чудовищным по силе кашлем, особенно одолевавшим его после еды. Испуганная Анна, вздрогнув, не удержала тяжелого подноса, и составленная горкой посуда, обрушилась на пол, прямо на глазах у молодого человека. Убегая в слезах, Анна заметила, что он по-прежнему улыбался.

Постояльцам небольшой гостиницы пришлось мириться с тем, что после каждого звонкого девичьего смеха или веселого возгласа горло у больного сводило, и он, тяжело сопя, постепенно, но решительно ускоряя темп, вдруг разражался тяжелым, влажным и страшно выматывающим кашлем, осуждающим всех здоровых. Кашлял он долго, голоса за стенкой всегда пристыженно умолкшие вначале, вдруг, забывшись, вновь возобновлялись. Тогда кашель на секунду замирал в изумлении, словно больной не верил своим ушам, и через мгновение раскаты кашля вновь оглашали небольшую гостиницу. Хотя некоторым постояльцам, особенно занимавшим соседние номера с тяжелобольным, казалось, что громяхающий треск неизменно заканчивающийся долгим рычанием и сплевыванием мокроты, сотрясает временами не только гостиницу, но и весь уездный городок.

Была среди постояльцев этой небольшой гостиницы сухонькая мнительная немолодая особа, на которую кашель производил особенное впечатление: после каждого приступа она замолкала, бледнела и даже иногда крестилась, шепча беззвучно слова спасительной молитвы, и было как-то неясно, о ком она просит Господа: об излечении несчастного больного или же, боясь страшной болезни, просила Всевышнего уберечь ее «от этой заразы», последнюю фразу она произносила чуть громче и разборчивее, нежели все остальное.

Молодой человек (то ли студент, то ли недавно окончивший медицинский), чье внимание лишало речи и без того немногословную, тихую Анну, был, пожалуй, единственным, кто оживлялся при звуке кашля из четвертого номера. Он даже несколько раз просил допустить его до больного, но щуплый хозяин довольно резко пресекал начинания молодого врача. Так как, по словам хозяина, столь вежливого с другими, если господин пожелает быть осмотренным врачом, то он пригласит настоящего доктора. Студент, казалось, свои намерения оставил, но время от времени справлялся у Анны, нет ли у больного жара или сыпи на спине. На что не получал ответов, вследствие сильной стеснительности, охватывавшей бедную девушку в его присутствии.

Среди господ, проводивших вечера в гостиной за игрой, был также некий солидный пожилой господин, кажется, в прошлом военный (это читалось по его жестам и лаконичным интонациям, хотя нельзя исключать, что этот подтянутый седой господин нарочно выработал подобные привычки, именно чтобы производить впечатление). Так вот этот почтенный господин, выпив лишнего, поделился как-то вечером с молодым человеком из шестого номера, что в последнее время выигрывает неспроста, что, мол, ему кашель больного подсказывает всегда, когда именно нужно остановиться и не повышать ставку. «И более того,— продолжал шептать седовласый господин, придерживая собеседника за лацкан, — и более того, если посчитать, вот именно, сколько раз больной кашляет, то можно даже определить, какие карты на руках у игроков». Юноша не поверил и даже позволил себе посмеяться над бывшим военным, чем страшно раздосадовал старика, который был уверен в предсказательной силе кашля: ведь за последние две недели он был в плюсе на 60 франков, спасибо больному.

Получив письмо, из которого больному господину К. стало ясно, что несмотря на болезнь, ему необходимо продолжать дорогу, он так же внезапно уехал, как и поя-

вился. Щуплый хозяин после отъезда состоятельного постояльца, внимательно осматривал номер, надеясь найти какую-нибудь оставленную в спешке вещь, обнаружил испорченный сигарой прикроватный коврик и трещину на хрустальном графине.

Солидный военный в два вечера проигрался новому постояльцу, недавно прибывшему из-за границы азартному молодому щеголю, и вынужден был съехать в номера за меньшие деньги.

Молодой врач получил распределение в небольшой городок за много верст на запад и, быстро собрав свои немногочисленные вещи, уехал, на прощание подарив Анне дурные дешевые духи и неумелый влажный поцелуй, а она так рассчитывала на предложение руки и сердца и даже была готова ехать с ним.

Анна вскоре после спешного отъезда молодого врача, с которым она в мечтах так крепко связала свое будущее, нашла утешение в объятиях нового постояльца, недавно прибывшего из-за границы и преподнесшего ей в первый же вечер чудесную шкапулочку, в которой, по его словам, она будет хранить его письма к ней.

Мнительная дама неосторожно провела за рукоделием вечер у окна, где ее продуло. Слегла, меньше чем за неделю сгорела и тихо скончалась от пневмонии, все так же беззвучно шепча непомогающие молитвы.



Иннокентий Медведев
(г. Братск)



ТРЕВОЖНЫЕ СТРУНЫ ДУШИ

Медведев Иннокентий Петрович. Родился 20 марта 1963 г. в деревне Банциково Нижне-Илимского р-на. Юрист. Специалист адаптивной физкультуры (АФК). Автор пяти поэтических сборников. Лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей-2010» имени русского национального поэта Николая Рубцова (Москва). Лауреат международного литературного конкурса «Прекрасные порывы-2010» в номинации «А. С. Пушкину» (Симферополь). В настоящее время опубликованы подборки стихотворений во многих известных международных изданиях.

СТОНЫ

Слышишь стоны, тяжелые стоны,
Это стонет от бед наша Русь.
В унисон им церковные звоны,
В них веками заложена грусть.
Эти стоны вчера простонали,
Понесли их с собой журавли.
Стоны скорби и стоны печали,
Они рядом и где-то вдали.
Лишь душевноглухой не услышит,
Не увидит, как горбится Русь.
Как со стоном прерывисто дышит
Безутешна душевная грусть.

В ЦЕРКВИ

Добрый вечер, господа!
Добрый вечер!
Освященная вода
Всех излечит.
Пенье слов и зов души —
Наши встречи.
Вновь в молитвенной тиши
Ставим свечи.
Я под сводами стою
Со свечами.

Души грешных отпою
Вместе с вами.
Лучше молча постоять
Без рыдания,
Чем фальшиво оглашать
Отпеванье

ЭХ, ДУША

Эх, душа... буду пить и напьюсь,
Что-то тяжело в груди, что-то тяжело.
Может быть, я во тьме растворюсь...
Отпоет меня певчая пташка.
 На могилку мою пусть сирень
 Пустоцвет свой печально роняет.
 И стихи все мои — дребедень,
 Пусть их вовсе никто не читает.
Толк ли в том, что я жил или пел,
Крест судьбы Бог взвалил мне на плечи.
Не хотел я взлетать, но взлетел —
Время лечит и тут же калечит.
 ...Эх, душа, хмель тебя не берет,
 То есть пить ни к чему и не буду.
 Смерть за мной в этот миг не придет
 И о ней я сегодня забуду.

ДЕРЕВНЯ БАНЩИКОВО *

Есть дорога одна к Усть-Илиму —
Пахнет мятой, травой резедой.
Там своротка к деревне родимой,
К той, что скрылась давно под водой.
 Наверху только волны гуляют,
 А под ними нашла свой приют
 Та деревня. О ней уж не знают.
 Там в домах только рыбы живут.
Там мой дом. Там мы в прятки играли.
Там поля, мое детство и луг,
И туда птицы к нам прилетали,
И мужик там осваивал плуг.
 Но кружитесь, кружитесь над морем
 Мои ласточки, чайки, стрижи...
 Пусть слезами не выплакать горе,
 Но хоть память дано освежить.
Как вы гнезда заботливо вили
И растили под крышей птенцов.

* Деревня, которой нет.

Это, милые, вы не забыли,
Как и я своих дедов, отцов.
 Вот и я здесь стою на дороге,
 Той дороге, что в воду ведет.
 Волны моют мне босые ноги
 И там будто меня что-то ждет.
Веет холодом прошлое в душу.
Скорбь и боль, и тоска, и печаль.
Мир тебе. Твой покой не нарушу.
Отчей родины, сгинувшей, жаль.

* * *

Да, конечно, деревня мне ближе
И ее золотые поля.
Я живу, и поэтому слышу,
Как зовет меня стоном земля.
Я пройду по деревне родимой,
Брошу куртку свою на плетень —
Вот она!.. всех дороже и зримей
В этот солнечный, ласковый день.
Здесь черемуха пахнет дурманом,
Взгляд слепит белоснежный наряд.
Здесь березки с загадочным станом
Привлекают прохожего взгляд.
Пусть завязла она на ухабах,
Пусть калитки висят на боку.
Как живет в ней девкам и бабам
Мне расскажет гармонь на лугу.
Пусть пропахла веками навозом,
Пусть дерется мужик за межу.
Пусть давно распрощалась с колхозом —
Я деревню за то не сужу.
Только жаль, что поля без потребности...
У калитки мне жаль мужика, —
Просит, нищий, у нищего хлеба,
Вместо плуга — бутылка в руках.
Я от солнца рукою прикроюсь —
Что-то птичек в лесу не слышать...
И деревне я сердцем откроюсь —
Только сердцем поля не вспахать!..
Прохожу мимо деда — горюет:
— Ты бы дал мне, сынок, закурить...
Сколько вас, городских, тут гостюет...
Навсегда бы приехали жить...
«Слушай, дед, Расскажи-ка на милость,
Что толкает Россию на край?
— Это, паря, похоже на сырость,
Видишь, сгнил у болота сарай...
Прохудилась над Русью-то крыша.

Да не вам, городским, залатать...
Сколько лет уже только и слышно,
Что Россию пора возродить...
«Слушай, дед, я же ваш — деревенский
Баншиковский, Петра средний сын.
Покажусь с виду, может быть, дерзкий,
Но скажу, я с деревни один,
Тот, кто наши поля воспевает,
Тот, кто нашу деревню бодрит.
Но не каждый про это узнает...
Слушай, дед!» — Только дед уже спит.
«Ну и ладно... ты спишь или умер?..—
Храп услышал,— так, видно, живой...
Вот такие они, наши думы,
И от них хочешь пой, хочешь вой.
Да, конечно, деревня мне ближе
И ее золотые поля...
И поэтому часто я слышу,
Как зовет меня предков земля.



Тамара Булевич
(г. Красноярск)



ВОВКИНО ГОРЕ

В Ивановке, заброшенной деревеньке на сто дворов, селяне жили бедно, но дружно, как в далекие добрые времена. Завидовать некому и нечему: каждый кормился тайгой, рекой да подворьем по своим силам и умению. Беда — и та была на всех одна: неудержимое, беспросветное пьянство. С вечера взрослое население до одури ублажалось доступным зельем из огородного сырья, а поутру, по новому веянию, шли в церковь грехи замаливать. До обеда каялись, замаливали. Потом, перекусив что Бог послал, принимались за неотложные, бесконечные «надо», ради прокорма семьи. В сумерках, только бабы подоят коров, садились за длинный скобленный стол ужинать. И пошла-поехала новая гульба — разгульная. Бал правил уж самогон...

Так-то жили еще приличные хозяева. Большинство же мужиков любимому занятию как приятной повинности отдавали себя без остатка времени на домашние дела. Настоящей работы, за которую деньги платят, — никакой. Колхоз разворовали крутые ребята. Оставалась одна ферма. Ее мужики по очереди охраняли. Да не устерегли. Сгорела ферма-кормилица вместе с колхозными коровами и народившимися телятами. То ли те же вражьи дети по злобе спалили, то ли дед Кузьма со своей вечной самокруткой где-то искру сронил.

Что вокруг фермы творилось — страшно вспомнить. Коровий и бабий рев всю ночь разрывал в клочья ивановские души. Животину всякую жалко, а ту особенно: породистая, голландская. Миллионы за нее колхозниками плачено. Зато и молока было — залейся, и мяса — ешь, не хочу.

Бабы неделю воем выли. Как не выть-то?! Жаркие, непобедимые языки пламени слизали в одночасье семейный достаток селян.

До обрушения крыши успели-таки с десятков-другой молодняка выгнать. Из спасенных телят маленькая пятнистая коровка досталось и сироте Машеньке Кукушкиной. Так сход решил. Два года назад ее молодые родители Клавдия и Владимир, работающие на подвозе сена, погибли под тяжелым трактором «кировцем», слетевшем с дороги по непогоде в глубокий кювет.

Жила теперь скромная красавица Машенька одна-одинешенька у самой околицы. После восьми классов учиться дальше стало не на что. И поселковый совет временно определил ее подменной дояркой, чтобы руки набивала, на завтрашний день силенок набиралась, коих хватило бы на дойку десяти коров.

Девушка относилась к обязанностям рьяно, ответственно. После короткой по малолетству смены домой не спешила. Допоздна возилась с приплодом, который с любовью называла «пятнашками». Усердно кормила шустрых телят, не по разу меняла им в клетях быстро мокнущую соломенную подстилку. А в ту ужасную ночь сильно убивалась по задохнувшимся в дыму питомцам. Даже в огонь бросалась, слыша их отчаянный зов о помощи. Два мужика за руки удерживали Машу, а не то бы и ей погибели не миновать.

Оставшись не у дел и с детства переняв от матери швейное мастерство, Маша стала честно зарабатывать себе на пропитание шитьем. Ловко это у нее получалось. Обшивала и ребятишек, и взрослых. Огонек в доме у околицы светился далеко за полночь. Была и радость душе — подрастающая Буренка. Умудрилась сама стог душистого клевера для нее накосить. Основной Буренкин прокорм на зиму помогли добыть селяне. У заботливой хозяйки телочка росла здоровой, ухоженной. Позже Маша и кур завела с горластым петухом, чтобы по утрам будил на выгон Буренки в прибрежные луга.

Неизбалованный благами властей всех времен ивановцы шибко тосковали по настоящей работе. В одночасье порушилась их привычная колхозная жизнь до основания. Заново отстраивать ее никто не собирался. Председатель поссовета Таисия Тимофеевна Самгина, бывая у районного начальства, требовала сжалиться над умирающим селом, найти ему, наконец, доброго хозяина. Но нынешние гонористые олигархи обезжали неказистую, небогатую деревеньку стороной. Либо, приехав, и часу здесь не задерживались.

Однажды погожим летним днем село мигом облетела весть. Какой-то господин в соломенной шляпе и при здоровенном черном «Лэнд крузере», напомнившим некоторым старожилам печально известного «воронка», остановился у прежней конторы. Вроде, хочет колхоз возродить. Народ, от мала до велика, обступил его. Затихли, рты раскрыли, когда заговорил хозяин. Обрадовались: о людях радеет. Работа — она каждого уважаемым человеком делает. Самгина после его толково высказанных народу задумок даже в ноги ему поклонилась:

— Давайте, господин Трахов, действуйте. Всем миром поможем. Пить бросим. Пупки, как бывало раньше, надорвем, но Ивановку опять в люди выведем.

Тот умно хмурил брови, поддакивал. Наобещал перемен — выше конторской крыши. Потом неожиданно предложил:

— У кого есть ваучерные залежные земли, я готов выкупить их для нового колхоза. Не стану торговаться. Не поскуплюсь. Смело называйте цену. Конечно, в разумных пределах, — без конца вскидывая черные вразлет, густящие брови, тряс перед владельцами частной землитугими пачками денег. С зеленым отливом. Да обнищавшим вконец ивановцам до них ли?! Они давно позабыли, какие теперь в ходу, деньги-то. При разговоре он откровенно, до неприличности успевал разглядывать Машеньку Кукушкину. От таких поглядываний неловко делалось каждой стыдливой деревенской душе. Девушка не знала, куда глаза отвести. Лицо скромницы заливалось то лунным светом, то зарей вспыхивало. Наконец, Маша такого позора не выдержала и убежала домой.

Господин олигарх подозвал и представил своего юриста:

— Куплю-продажу земель чин-чином оформи. И сейчас же.

Тот без промедления приступил к исполнению прямых обязанностей, достав из кейса готовые бланки договоров и прочих бумаг. Пока хозяин строил планы о чудном преобразовании Ивановки, он успешно завершил сделки. В них, ради нового колхоза, поручителем Трахова выступил поселковый совет. Таисия Тимофеевна и печать в договорах поставила. Только нужной суммы для расчета у покупателя не оказалось: закончилась рублевая наличность.

— Вот мой залог, — и вновь предъявил народу объемистый сверток с пачками валюты в банковской обертке. — Прошу поссовет принять его, пока на днях полностью со всеми не рассчитаюсь.

Председатель, долго не разглядывая, положила залоговые доллары вместе с гербовой печатью в переносной сейф.

Селянам такой жест хозяина показался убедительным. Они громко захлопали, как им показалось, порядочному, честному человеку.

— Кто сомневается, можем завтра утром встретиться у Главы районной администрации.— предложил Трахов и на прощание пожал каждому присутствующему на сходке ивановцу руку.

— Да где там! На какие шиши им ехать-то? Зарплату который год в руках не держали,— сокрушалась радетьельница о селянах Таисия Тимофеевна.

Багряный закат весело и беззаботно раскачивался на богатой кроне крутобоких, раскидистых берез околицы, когда огромный «Лэнд крузер» вплотную прижался к покосившимся воротам Маши Кукушкиной. И когда ранним утром бабы выгоняли коров в табун, стоял там же. А уж домой возвращались жутковатой машины не обнаружилось. Тогда многим показалось, что Ивановка как-то сразу посветлела. Больно уж черный он, крузер-то... С ним исчезла и любимица Машенька. Заперла дом на замок, и все тут.

Вечером Буренку встречала ближайшая соседка и подруга ее матери Клавдии Прасковья Никитична Соломина. Всю жизнь прожила она напротив дома Кукушкиных и в большом почете, коим в русских селах испокон одаривали умелых бабушек-повитух.

— Чо, небось, увез хозяин нашу Машеньку в барские хоромы? Повезло ей, ай, повезло,— словно сговорившись, пытали Проню об одном и том же нетерпячие, любопытные бабы, сердечно радуясь за сироту.

Новый светлый день и другие последующие дни не принесли селу добрых новостей.

Прошли недели, месяц минул, но господин Трахов не объявлялся. Пропал бесследно. Первыми забеспокоились несостоявшиеся землевладельцы: «Не мошенник ли?!» Собрались в поссовете.

Федор Тулупкин, по жизни язвенник, не преминул подлить масла в огонь жадноватому Петру Давыдову:

— Ну, влип ты, батенька, в историю! Лопухнулся! Плакали твои дармовые гектары да сотки. Не жил богато, и чо в гору... в буржуи попер-то?!

Простоватый и доверчивый Прохор Сухов принялся защищать Трахова:

— Мало ли чего с человеком стряслось! А не знамши, уж клянете в хвост-гриву. Плохой бы человек не стал нашему брату подмогу делать. Знамо, на свой страх и риск колхоз сызнова создавать. А этот, вишь, задумал перестроить нашу скособоченную деревеньку.

За время ожидания заблудшего где-то олигарха сошедшая на нет с лица Самгина от их речей все громче ерзала в кресле.

— Что бы, хоть одному из вас, продавцов-то, к Трахову в крузер попроситься. Наутро в районе и прояснилось бы, кто он есть таков. Так нет! Пьете — попиваете! Никак, окаянные, не напьетесь.

Решено было разузнать о месте нахождения хозяина, для чего его поручительница Таисия Тимофеевна отправилась в районную администрацию. Вернувшись к вечеру, она вновь обнадежила.

— Приезжал наш богатей к самому главе. В тот же день ваши договора по закону оформили. Теперь Трахов — собственник купленных земель. Начальство заверил, мол, как вернется с Кипра, тот час приедет к нам для расчета. Сказывают, очень спешил господин Трахов за границу-то. Там жена сына ему родила. Первенца. А они, сыновья-то, на самом деле, отцам — счастье и гордость несказанные.

— Какая жена?! Какой первенец?! Тогда... где же Маша?— захлебнулись вопро-

сами ивановцы. И Самгина о том же переживала. Раньше-то у Машенькиной матери лучшей подругой считалась. Но о девушке ничего узнать не удалось. Никто в райцентре их вместе, либо ее одну, не видел.

... Маша Кукушкина вернулась в село перед самыми родами. Совсем другая, вроде, вовсе и не она. От прежней красавицы половины не осталось. Разве что, куда-то далеко провалившиеся глаза светили теми же необыкновенно бархатистыми, васильковыми огоньками. Но селяне сразу заметили: не в себе она, не в себе... Помогали, чем могли. Замученная, истерзанная, до дна злодейски испитая, Кукушкина молчала, боясь смотреть на них. Из дома не выходила, а с кем случайно через забор взглядом пересечется, тому вежливо кланялась и быстро пряталась в сенцах. Только Таисия Самгина да Проня общались с больной Марией.

Так уж повелось у ивановцев, что, как прилипнет к человеку имя либо прозвище с детства, так и тянется за ним до погоста. Прасковью Никитичну иначе никто и не называл: Проня и Проня. Только школьная детвора и подворная мелкота, с помощью Прониных рук на белый свет без единой родовой травмы выскользнувшая, ласково величала ее бабушкой. Она и Машеньку на свои руки приняла. Тяжелые были роды у подруженьки. Долго дитя спасала, чуть живую вытащила. Потом Клавдию едва выходила.

А Машенькин первенец сам торопливо в мир выскочил, прямо на повитухин белый фартук. Крепенький, хорошенький. Отчего-то долго плакал, словно на кого-то жалуясь бабушке, которая с того дня стала жить у Кукушкиных. В свой дом уходила на час-другой, чтобы с коровой управиться да печи протопить. Апрель то оттепелями баловал, то нешуточные морозы засылал. Внимательно, день за днем, присматривалась она к Марии, но той, вроде, после родов хуже не стало. Хотя и здоровья не добавилось. Лицо оставалось болезненно бледным, неулыбчивым. Лишь, когда кормила и пеленала сына, делалась необыкновенно радостной и счастливой.

— Видела бы Клавдия доченьку с младенцем... Вот что материнство с бабами совершает.— частенько говорила Машеньке в такие минуты Прасковья Никитична, смахивая быструю слезу. Учила молодую маму разным проверенным хитрушкам да мелочам, чтобы малыш рос здоровым да умелым.

Вовке исполнилось три месяца, и председатель поссовета принародно выписала малышу свидетельство: Владимир Семенович Кукушкин. Маша попросила дать сыну имя своего отца, а отчество прадеда. Крестной матерью определили Проню, крестным отцом — Прохора Сухова, который торжественно держал кроху на жилистых рабочих руках.

— Высказать не могу, так рад Вовке! Первый сынок-крестник объявился. Стало быть, не совсем уж падшим грешником у Господа числюсь. Благодарю за честь и обещаю стать ему, Машенькиной кровинке, настоящим, добрым отцом.

— И вправду, малой Вовка — роса к росинке, ее копия, только с писуном. В остальном — один к одному похож. И личиком, и тельцем. Солидный народился малыш. Наш, ивановский,— подтвердила Проня, а слово ее, что печать Самгиной, топором не вырубить.

Рядом стоящая с мужем бездетная Нюся уже не преминула хлестнуть Прохора худой ладонью по затылку.

— Я те покажу, старый дурак! Ишь, чего захотел... отцом настоящим! Маша-то тебе, черту лысому, во внуки годится. Ну, кобелина, ну, стервец!..

— Да успокойся ты! — грубо оборвала Нюсю Самгина. — Место и время понимать надо. Прохор младенца-ангелочка на руках держит, а у тебя дурь на уме. Вот же бабье! Все одной думкой живете. Да наша Машенька не из тех... чтоб чужими мужи-

ками тешиться. Запомните слова мои! И мужики, и бабы! Не то со мною сквитаетесь. Худого с Кукушкиными не дозволю! Не дам в обиду, поняли, оглашенные?!

Ивановцы давно знали: с Таисией шутки плохи. В гневе — зверь баба. От рычащего голоса председателя мухи по углам забивались. Мужа и того не щадила, если, бывало, чем-то провинится перед ней. Бедный, прятался по соседям до той поры, пока сама не разыщет. Но такое у Самгиных случалось редко, и селяне плохого за ней не помнили. Ценили своего председателя за радение, справедливость, способность драться до победного конца за каждого, кто попадал в беду.

Мужики первыми поддержали Самгину, тоже приструнив ревнивицу Нюсю. А Таисия Тимофеевна, справившись с собой, достала из сейфа две бутылки шампанского с коробкой конфет в красивой целлофановой обертке, подаренные районным начальством к 8 марта.

— Раста, Вовка, богатырским мужиком да будь нам сыном желанным,— проследзила с комком в горле Таисия Тимофеевна,— вот бы мать с отцом порадовались... Теперь, Машенька, зря времени не теряй. Берись-ка вновь за свое ремесло, матерью тебе нареченное. Совсем мы обносились. Покупать-то обновы не на что. Времена не те.

Так и вошел в большое ивановское семейство желанным сыном Вовка Кукушкин. Владимир Семенович, внук уважаемых Кукушкиных, а не какого-то там Трахова сын, папаша которого разбередил мечтами душу и сунул залогом за купленную землю валютную «куклу». Договорились ивановцы, чтоб и духу траховского тут не было.

Мария вновь села за швейную машинку. Головы не поднимала. За неделю ворох новых вещей нашивала: рубах, штанов да юбок с кофтами.

Ошалелое время пролетало незамеченным. Вот и ее сынишке исполнилось четыре годика, но по виду все пять дашь. Рослый малыш, ласковый и смысленный, сам находил себе занятия. Любил рисовать самолеты.

— Бабуля, а куда папка мой уехал? — Прасковья Никитична вовсе не ожидала такого услышать. Маша тем часом доила Буренку.

— Дак это... на войне фашистов бьет. Нескоро повидаться вам придется, сынок.

— А ты мне, бабуля, нарисуй его. И самолет тоже.

— Смогу ли? — не на шутку испугалась Вовкиного задания престарелая крестная мать, после окончания начальной школы в тридцатых годах не державшая карандаша.

— Сможешь, сможешь. Я помогу. В моей книжке видел и самолет, и папку.

Распластавшись по чисто выскобленным половицам, они вдвоем принялись создавать задуманный рисунок. За этим усердным художеством и застала их Маша.

— Чего на полу-то катаетесь? Стола мало? — нарочито строго спросила она.

— Мамочка! Мы папку в самолете рисуем. На войне он. Фашистов... тыр-тыр-тыр... из пулемета бьет.

Маша от неожиданно прозвучавшей, но давно мучавшей ее темы, растерялась.

— Вот оно что... на войне, значит...

И опять весь вечер сосредоточенно обшивала малых и взрослых селян.

— Тебе с малолетства не привыкать работать-то. Но ты, дева, и об малом сыне не забывай. Вишь, глазенки с мамки не сводит. Только и зыркает. Поласкайся и ты с ним. Завтра, чай, Вовкин день рождения. Устрой парнишке праздник, сама передохни малость. По селу прогуляйтесь. К Таисии Тимофеевне не позабудьте заглянуть да к Прохору. Люба ты им. И дитя твое в радость людям пришлось. Нераз слышала: «Наш Вовка! Наш Вовка!» Вот и покажи, как он попрос, бутуз краснощекий.

Прасковья Никитична сильно привязалась к мальчонке и опять принялась целовать любимого крестника, «ненаглядного кукушонка», давно прописавшегося в ее пожизненном одиночестве дорогим человечком.

Поутру Маша нарядила сына, сама приделась, причесалась. Красавица. Но глаза по-прежнему оставались грустными-грустными. Оба нарядные, пригожие вскоре уж здоровались с ивановцами на подворьях.

Тетя Тая подарила имениннику голубой самолет с красными звездами на крыльях.

— Кем станешь, когда в школе выучишься? — спросила она у любимца, глядя белобрысые завитушки.

— Летчиком. Всех над тайгой прокачу.

Маша заметно заволновалась. «Только бы про «доблестного» папашу чего не нафантазировал!»

А сын уже бойко читал Самгиной детский стих: «Идет бычок качается, вздыхает на ходу...»

Обрадовались их приходу и крестный Прохор с Нюсей. За стол усадили, накормили пирогами. Вовке к чаю подали припасенные три шоколадные конфеты «Мишка на севере».

Вернулись Кукушкины домой к ужину. Да не одни. С Прохором, который сзади на тележке вез в их дом непонятный груз. Вовка светился от счастья, хвастаясь бабуле самолетом и конфетами.

Прохор тем временем начал собирать смастеренную из мареной листовки для Вовки широкую кровать. Снизу кровати приладил плетеную решетку в резной рамке. Для игрушек. В угол поставил небольшой комод для одежды. Но очень уж обрадовался крестник аккуратно сбитому из строганных досок ящику с крышкой. Чего там только не было! И маленький молоточек, и брезентовая сумка с гвоздями, и старая пила с ручкой. Да премного других, крайне нужных смекалистому мальчугану «взрослых игрушек».

— Хватит, сынок, с бабулей на печи нежиться, — наставлял Прохор. — Один спи. Мужик уж какой, елы-палы! Четыре года! Это тебе не баран чихнул. Пора собственным хозяйством обзаводиться. К ящику-то особливо баб своих не допускай. Больно ценные в нем для мужицкой жизни штуки хранятся. Вмиг растащат. Опосля ищи-свищи. А тебе, елы-палы, надо за домом смотреть. Где чего приколотить, либо спилить понадобится. Так действуй, сынок, не зевай.

Малыш вытянулся перед Прохором в струнку и преданно смотрел на своего понятливого и щедрого крестного.

— Смело прибегай ко мне, Вовка, коль, чем помочь потребуется. Большой уж. Мало ли забот у взрослого ребенка... Смастерить, к примеру, табуретки надумаешь, либо скамеечку матери под корову садиться. Две головы, оно завсегда лучше.

Давно Прасковья Никитична заметила, что Маша не притрагивается к сыну с ласками да поцелуями. Не моет его. Все бабуля за нее восполняет, ежедневно купая и беспрестанно тиская крестника в объятьях. Вот и сейчас не удержалась. Но тот привычно стер рукавом с пухлых щек ее поцелуи.

— Ну, что ты, бабуля! Слышала от крестного: я большой. Стыдно мне с бабами чмокаться.

— Дак это... я за себя и за мамку. Она-то не жалуется нежностями, разве словами. Сто раз говорено: мальчонке ласки нужны, а все отмалчивается, знай, жмет педаль швейки. Понежить ребенка недосуг. Сидит белым-белехонька, будто с креста снятая, за спину от усталости хватается да губы кусает.

Через неделю Мария совсем разболелась.

— Надо ли тебе, дочка, денно-нощно хлестаться с шитьем-то! Всех денег не загребешь. Об малом подумай, понянькайся с ним. А то вовсе сына не касаешься. Хотя, вижу, души не чаешь. Скоро он от наших женских приставушек сам отворотится. Парнишка ведь. Захочешь помилиться, да не дастся.

Мария после ее упреков в голос разревелась.

— Чо ты, дочка, Господь с тобой! Хотела на добро, любя, наставить, а ты вона... из-за ничего растрогалась.

— Нет, тетя Проня... О другом плачу... Давно надо повиниться перед тобой, душу излить. Не чужая мне...

Прасковья Никитична подошла к ней и, прижавшись к худенькому Машенькиному телу, дотронулась губами до пылающего лба.

— Нет-нет!.. — та испуганно отстранилась. — Не прикасайся! Я грязная...

— Чего удумала-то, красавица? За четыре года, чай, родной дочкой стала. Какая еще «грязная»?! Опомнись. Девичий грех твой давно селом прощен. Я и вовсе не судья.

— Умираю я, тетя Проня... умираю.

— Не дури, дева! В твои-то годы?! Ну, уж нет! Чахотка? Или по-женски? Давай, посмотрю. Скольким бабам помогла да по сей день помогаю, будь они во веки веков здоровы. И тебя выхожу. Пойдем, милая, в мой дом. На кресле с лупой гляну.

— Поздно, тетя Проня, поздно... Нутро из меня истекло уж. Заразная я. Недолго терпеть осталось. — И, рыдая, упала перед ней на колени.

— Вовочку моего... сынка ненаглядного... не бросай. При тебе он, как при родной матери... В сиротский дом не отдавай, заклиная и Христом Богом прошу. Коль обявится... по случайности, ему — ни за что! — Вовка насторожился и подошел к матери. — А ты, сынок, во всем слушайся крестную маму, помогай по дому. Живите здесь, в нашем... Долго и дружно. С твоей помощью, тетя Проня, стен родных вырастит мой сынок честным да добрым.

— Маша, детка, чего говоришь-то?! Обязательно поправишься. Из любой беды вызволю, лишь сама того захоти. Выжить-то... Сын ведь у тебя — совсем малой, — запрочитала теперь и Прасковья Никитична.

Маша подошла к материному комоду, выдвинула ящики.

— Они полны Вовочкиной одежды на разные годы. Кое-что и в старших классах пригодится. А в льяном мешочке... на дне — деньги. От деда Вовы с бабой Клавой, от меня... Не бедствуйте, — и в изнеможении упала на кровать.

Прасковья Никитична тоже онемела от свалившегося на седую голову горя. Сидела под божничкой пунцовая и терла зареванные глаза. Немного успокоившись, Маша начала исповедоваться о своей жизни у Трахова, бандитского главаря.

— Три месяца держал на третьем этаже загородного коттеджа. Под запорами, а ключи в своем кармане хранил. Говорил, «шибко клевая, красивая, чтоб в лесу дремучем вольной оставаться». Охранники только в туалет выпускали. Еду в комнату приносили. Им главный злодей тоже не доверял. А когда узнал, что ношу его ребенка, озверел от ярости и в тот же день бандитам, псам бешеным, бросил на растерзание. Кто-то из них и опаскудил...

— Чо ли соседей поблизости никого не видала, криком-то на помощь призвать?

— Какие соседи?! Тайга на десятки километров, а в комнате той, где жила, — ни одного окна. Лишь в потолке поблескивало цветное оконце. До него высокому мужику не допрыгнуть.

Прасковья Никитична под села к Маше и теплой рукой гладила ей холодные ноги, понимая, сколько бедняжке пережить пришлось, и почему она своего первенца никогда на руки не брала, не целовала, лишь нежно, трогательно и любовно разговаривала с ним. Заразить боялась.

— Сама сбежала-то от извергов, ни дна им, ни покрывшки?

— Обманула. Сказала, схватки начались. Кричала, умоляла отвезти в больницу. Сначала не обращали никакого внимания, потом поговорили с хозяином, после накинули на голову мешок и повезли к шоссе. Дальше ничего не помнила. Видно, ударили по голове и бросили на обочине. Подобрал меня, сказали, какой-то пожилой мужчина, привез в больницу. Очнулась на больничной койке. Начали лечить

сотрясение мозга. Тогда-то и объявили мне срамной приговор... Лучше бы бандиты убили...

— Опомнись, Маша! Малыш-то смотри какой! — не сдержавшись, перебила ее Соломина.— Прости, милая... Рассказывай, рассказывай!

— Врачи хотели перевезти в диспансер, но я ночью сбежала. Хорошо, документы сохранились в белье. Показала водителю автобуса свою прописку. Удалось уговорить его довезти без денег до райцентра. В Ивановку на попутке добиралась.

— Машенька, детка, я постараюсь вылечить...

— Нет-нет, тетя Проня, не позволю, чтобы ты свои чистые, святые руки об меня пачкала. Да и чувствую, вот-вот конец мукам моим.

— Почему ж ты тогда, при родах, не открылась? Вылечила бы, обязательно вылечила... Не заразила ли мальчонку?

— Плохо знала тебя, боялась, ославишь... Мне-то одна дорога... на погост, а сыночку с вами жить. Теперь уверена, сохранишь мою тайну. И напоследок, тетя Проня... Сними хоть один грех с моей смертной души. У края могилы прошу. Свози Вовочку в район к врачам. Пусть хорошенько посмотрят, проверят, анализы сделают. Сошлись на причину, что с плохими, мол, приезжими людьми общался. Сама для верности докторам покажись. Денег ни на что не жалею. Купи лекарства, если пропишут. Я же с нетерпением, страхом и надеждой постараюсь дождаться вас... С этого дня ты, тетя Проня, и есть Вовочкина мать. Не жилища я, нет, не жилища...

Всю неделю, показавшуюся Марии вечностью, пробыли Прасковья Никитична с Вовочкой в райцентре. Пока врачам показались, дождались анализов.

— Сказали, крепыш. Совершенно здоров. Бог, значит, уберет. И меня тоже.

— А ты, тетя Проня, не жалеешь? Ничего не скрываешь? — допытывалась несканзанно обрадованная Маша, целуя через глаженный платок пухлые ручонки ненаглядного сынули. Но едва уже говорила затухающим голосом. Без слез. Все до капельки выплакала.

— Клянусь, детка, Богом и светлой памятью Клавдии. Ни пятнышка на нашем ангелочке. Чист. Таким и дальше растить станем. Ты, дева, за соломинку держись, но живи, слышишь, живи!

...Мария лежала молодая, спокойная, красивая. У передней стены горницы стояли венки от селян и несколько ведер тополиных веток с набухшими почками. Во всем доме занавешены зеркала. В горнице полно народу.

Прасковья Никитична рыдала над Машенькой молча, чтобы поберечь малыша, и без того настрадавшегося за последние дни.

Вовка ходил вокруг матери с красными глазами, которые неистово тер кулачками. Без конца перекладывал на белом саване искусственные розочки. А то вновь принимался причитать со всхлипами осипшим голосом:

— Не уходи от меня, мамочка... Я маленький... Как жить стану... Я боюсь...

Бабы не выдерживали, начинали воем выть, а мужики выскакивали на улицу.

— Хватит плакать, сынок, хватит. Твоей маме и так тяжело с тобой расставаться...

Она взяла мальчика на руки и сбрызнула с ладони святой водой не в меру раскрасневшееся личико. Вовка затих, прижавшись к ее груди.

Потом еще долго Прасковья Никитична качала его у гроба и отнесла, уснувшего, в спальню. «Хорошо, Вовочка, хорошо... Спи, сынок. Не по твоим силенкам видеть похороны матери».

На следующий день Вовка с Прасковьей Никитичной пришли на кладбище с миской блинов и двумя вкрутую сваренными яйцами.

В березовой роще громко гомонили птицы. Малыш растерянно смотрел на вздыбившийся перед ним невероятной высоты холм.

— Моя мама будет здесь жить... под землей?! Всегда?! — испуганно, в отчаянии спросил он и принялся быстро-быстро рвать повсюду растущие подснежники, торопливо втыкая их в могилу матери между комьями сырой земли.

— Я больше не хочу летать летчиком. Лучше стану лечить мам. Всех-всех... Чтобы мамы и ты, бабуля, никогда-никогда не умирали.

Он расстегнул куртку, задрал рубашонку. Достав из-за пояса свой любимый самолет, воткнул повыше, насколько смог дотянуться...

Прасковья Никитична подошла к малышу и крепко стиснула испачканную глиной, дрожащую ручонку в своей руке. Вовка доверчиво и взросло посмотрел на нее. Умные Вовкины глазенки говорили ей, что никого роднее у него теперь нет.

— Верь мне, сынок. Я сделаю все... Ты обязательно выучишься на врача.

